

Ремо Факкани

**ЗАПИСКИ ИЗ ДАЛЕКОЙ ПИТЕРСКОЙ ВЕСНЫ
(ВСПОМИНАЯ ЛЕОНИДА АРОНЗОНА)**

Я рисовал его на вязкой глине полдня,
потом стирал, чтоб завтра утром вспомнить.
Л. Аронзон, «Мадригал» (1965)

1.

Мне никогда не удавалось систематически вести дневник. Не вел я его и во время моего первого пребывания в городе на Неве, с ноября 1965 по июнь 1966 года. Поэтому, чтобы реконструировать – хотя бы в общих чертах – хронологию моего знакомства с Леонидом Аронзоном и наших последующих встреч, мне придется опираться исключительно на «тусклую память» (говоря словами Э. Монтале).

Впервые я увидел Аронзона в феврале или марте 1966 года на одной вечеринке, на которую меня пригласила бесценная ленинградская подруга К.Н. Уже ближе к ночи, когда хозяева и гости были все (или почти все) навеселе, в глубине комнаты, в облаке сигаретного дыма и неясного бормотания присутствующих один молодой человек стал громко читать стихи. Кажется, он стоял на ступени или на табуретке: я помню, что его фигура возвышалась над людьми, заполнявшими комнату.

Через несколько минут кто-то из гостей стал к нему прислушиваться и спросил, чьи это стихи. Аронзон твердым голосом сказал, что стихи – его и что он великий поэт. Чтение продолжалось, не могу точно сказать сколько времени; иногда его прерывал обмен колкостями между поэтом и публикой. Но, как мне казалось, некоторым из слушателей это неожиданное чтение очень нравилось. После того, как Аронзон перестал читать, К. представила меня ему.

2.

Тема исследования, позволившая мне получить стипендию в СССР, касалась русского формализма – критическо-литературного течения, которое в то время на Западе было очень модным. Однако замдекана филологиче-

ского факультета ЛГУ посоветовал мне прежде всего заняться русским языком. Он сказал, что мы встретимся через месяц, чтобы конкретно определиться с предметом моих изысканий.

Больше встреч с замдекана я не помню. Официального руководителя у меня никогда не было, и единственным профессором ЛГУ, с которым я консультировался (и с которым поддерживал связь и после моего возвращения в Италию) был выдающийся стиховед Владислав Холшевников. Меня познакомила с ним его бывшая студентка Алла Штерн.

Таким образом, в Ленинграде у меня не было четких академических обязанностей, в некотором смысле мне была предоставлена полная свобода. Помимо формализма, я занимался еще двумя «неоговоренными» проектами: собиранием материала для сборника статей ученых «Тартуско-московской семиотической школы» (которых тогда в Италии было принято называть «неоформалистами»), а также произведений для антологии новейшей русской поэзии.

Из двух проектов конкретизировался только первый – вместе с Умберто Эко мы составили книгу *I sistemi di segni e lo strutturalismo sovietico* (a cura di R. Faccani e U. Eco. Milano, 1969). Второй же проект не реализовался, да и не мог быть тогда реализован. О причинах я догадался только к концу моего пребывания в Ленинграде: выпуск антологии новой (настоящей, хорошей) поэзии подразумевал включение литературы андерграунда, которая, наверное, составила бы львиную часть антологии. Я боялся, что подобная публикация может доставить авторам изрядные неприятности. Тем не менее отказаться от общения с молодыми ленинградскими поэтами я не мог и не хотел.

Еще до знакомства с Аронзоном я посещал место, которое он, застенчивый и не склонный к «светскому» образу жизни человек, наверное, обходил стороной: я имею в виду буфет «Аэрофлота» на Невском, на месте которого, к моему большому сожалению, через несколько лет построили офисный комплекс. Там часто можно было встретить питерскую богему: ровесники Аронзона спорили о поэзии и девушках (преимущественно западных, приезжавших на Неву учиться) и, то шутя, то иронизируя друг над другом, «торговали» особо удачными рифмами.

3.

После вечера, о котором я рассказал, мы с К. неоднократно ходили домой к Аронзону. Я никогда не встречал его жену Риту Пуришинскую – ее лицо я увидел впервые на иллюстрациях в недавно вышедшем *Собрании произведений* (СПб. 2006). У Аронзона я познакомился с некоторыми из его друзей, в частности с Владимиром Эрлем, и сразу же мне стало казаться,

что для всех Аронзон уже тогда был признанным авторитетом – мастером, обладающим большой харизмой. Я помню, что Эрль спросил меня, каким тиражом выйдет антология, которую я собирался составить. Получив ответ (в Италии, как и в большинстве западных стран, книги стихов выходили, и выходят по сей день, небольшими тиражами), он улыбнулся хитрой улыбкой и объяснил мне, что они с друзьями могли бы напечатать на пишущей машинке в два раза больше экземпляров.

Однажды на письменном столе Аронзона я заметил самиздатскую книжку Эрля (*Стихотворения и переводы*, Л.: Изд-во Польза, 1966). Заметив мой интерес к ней, Аронзон с естественной простотой, которая была ему свойственна, подарил ее мне, несмотря на то, что на ней стояла дарственная надпись: «Лёне – мои лучшие стихи. От автора с уважением, благодарностью, любовью и проч.». На том же письменном столе я увидел лист со стихотворением «Мы судари, и нас гоня...», посвященном Эрлю и написанном летом 1965 года. Конечно, я не могу сказать, почему именно эти стихи, как бы выставленные напоказ, лежали там. Я переписал их на клочок бумаги, который скорее всего до сих пор хранится в одной из моих старых «питерских» тетрадей. Я помню также, как один из посетителей дома, друг Аронзона, рассказывал анекдоты из своей профессиональной деятельности учителя математики или естественных наук в деревенской школе и как он вдруг возразил против акцентуации слова «судари». Аронзон спокойно сказал ему, как будто речь шла о вполне очевидной вещи, что это – неологизм на основе слова «судно». Это был, как мне показалось, хороший образец словотворчества à la Хлебников.

Впоследствии, в беседах с итальянскими и русскими коллегами, мне несколько раз доводилось отзываться об Аронзоне как об оригинальном поэте, продолжателе поэтической традиции, берущей свое начало в стихах великого будетлянина («неохлебниковская» линия) и противостоящей «неомандельштамовской» традиции. Стихи Хлебникова, безусловно, оказали сильное влияние на формирование поэтики Аронзона. В дальнейшем, и особенно сегодня, после выхода вышеупомянутого издания его произведений, литературная деятельность Аронзона раскрылась передо мной более богатой, чем казалась тогда, несущей в себе яркую, личную интонацию, которую невозможно спутать ни с чьей другой.

4.

Незадолго до моего отъезда из Ленинграда Аронзон подарил мне машинописную подборку своих стихов и с еле заметной, одновременно гордой и меланхолической нотой отчаяния сказал мне, что я с ними могу делать все, что захочу. Я решил не публиковать их – ведь я боялся, что публикация

может повредить поэту. Сегодня я не уверен в правильности столь осмотрительного поступка, но тогда я знал о деле Бродского. К тому же как раз во время моего пребывания в Ленинграде разгорелось дело Синявского-Даниэля.

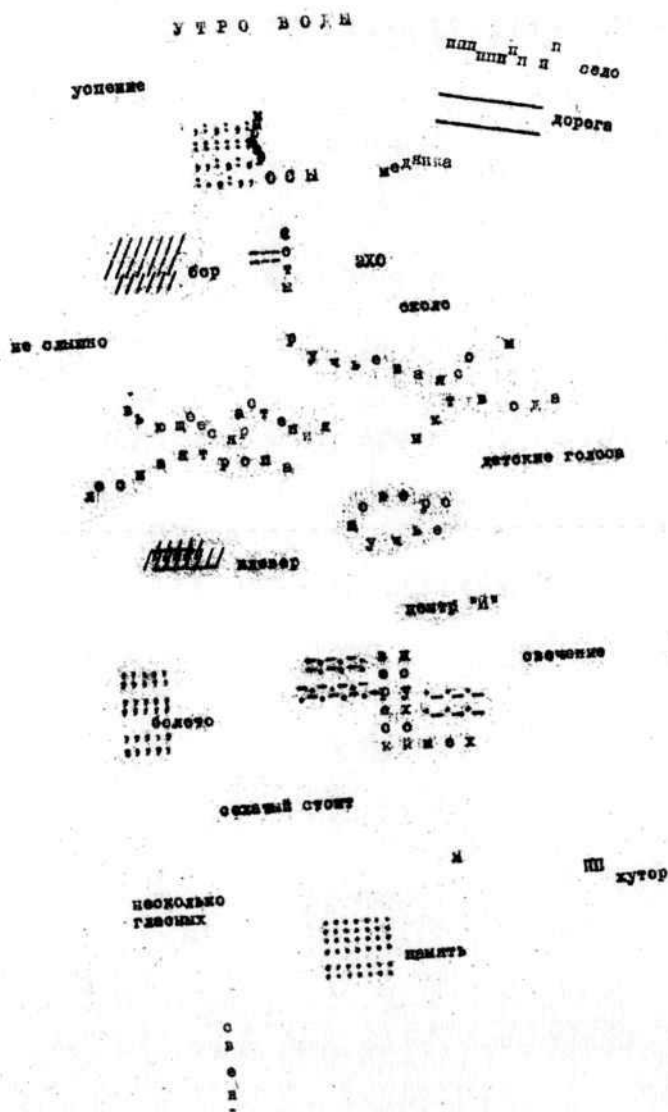
Кроме того, по возвращении в Италию моя связь с ленинградскими знаковыми стала слабеть и с некоторыми из них вообще прервалась. Впрочем, это было не самое благоприятное время для переписки с советскими друзьями, и сама моя жизнь пошла по довольно сложному руслу: я учительствовал несколько лет в селениях в Альпах, а потом в качестве стипендиата вернулся в Восточную Европу, в Польшу, где провел почти весь 1969 год.

Лет десять спустя я сидел в венецианском ресторане в компании Ефима Эткинды, Ильи Сермана и его покойной жены Руфи Зевиной (Зерновой). Мы беседовали о многом – о серьезных и не очень серьезных вещах; потом разговор коснулся Ленинграда и ленинградских писателей. Я спросил, знают ли они что-нибудь о судьбе Аронсона (мысли о нем не покидали меня на протяжении всех тех лет, и с его рукописями я не расставался при переездах из старого дома моих родителей в Равенне в другие дома и города). Руфь Александровна сообщила, что Аронзон давно погиб при трагических обстоятельствах.

Как в действительности протекала жизнь Аронсона, я понял, прочитав трогательные и душевные слова Риты Пуришинской в послесловии к иерусалимскому изданию стихов ее мужа (*Избранное*, 1985). Именно эта книга ознаменовала для меня вхождение творчества Аронсона в мир. В июне 1987 года я был в Иерусалиме, на Международном бахтинском симпозиуме. На одной из центральных улиц, около ворот старого здания, я заметил табличку с описанием от руки, как пройти в невидимый с улицы «Магазин русской книги „Малер“». Я зашел внутрь и двинулся по направлению, показанному стрелкой на стене. На втором или на третьем этаже я нашел двери, распахнутые в огромную, переполненную книгами комнату. Какой-то человек разговаривал по телефону на русском языке. На мой вопрос о том, есть ли у него стихи Аронсона, он ответил, почти с гордостью: «Да, конечно. Я их издатель!». Продолжая телефонный разговор, он пальцем указал на полку, где я впервые увидел, как поэзия Аронсона, знакомая мне лишь по машинописям, воплотилась в книгу, которой поэту, насколько я могу судить, так не хватало при жизни.

Одну из машинописей («Утро воды») я, с более чем сорокалетним опозданием, предлагаю вниманию читателя. Этот визуальный текст не был еще опубликован и иллюстрирует мою мысль об авангардной линии твор-

чества Аронзона. Поскольку об этом уже написал Сергей Бирюков,¹ я воздержусь от дальнейших рассуждений и предоставляю слово поэту.



¹ См. статью С. Бирюкова «Опыты неописательного письма» в настоящем издании.